



Трояныч

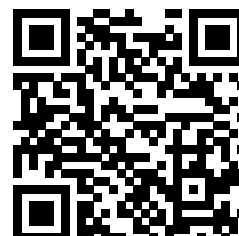
В Херсонской области этой зимой может умереть множество людей. В репортаже — ответ на вопрос «из-за чего на этот раз?»



Трояныч. Фото: Виктория Артемьева / «Новая газета»

07:09, 18 сентября 2026,

Виктория Артемьева



18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ)
ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН
ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЕ «НОВАЯ
ГАЗЕТА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЕ «НОВАЯ
ГАЗЕТА»

В кругу первом

— А где Трояныч?

— Нет Трояныча. Купаться ушел.

— А, это святое. — И ко мне: — Вы тогда подождите пару минут, он вернется скоро.

Подожду, конечно. «Это святое», сказанное про обычный душ, в этих краях — не просто присказка: когда еще вода из крана польется? Гости, пусть и редкие, пусть и первые за два года пребывания Трояныча здесь, в доме престарелых, приедут и уедут — а чистым быть охота всё время, и не только с шести до восьми вечера.

Коридоры, костыли, кряхтение, голоса из телевизоров, перебиваемые голосами еще живых; запах лекарств, стены, окрашенные, как всегда, по линии горизонта, гулкое больничное эхо — и всё это залито светом жарящего южного солнца.

— Наш Трояныч, — представляют мне героя, заботливо стараясь наполнить мое ожидание смыслом, — творческая личность, всё

время куда-то рвется. Всё время просит велосипед ему купить — но мы не покупаем: укатит куда-нибудь, где его искать потом? Неизвестно, чего от него, творческого, ожидать. Художник! Вот, смотрите — это всё Трояныч наш нарисовал! — и указывают на развешанные по стенам шедевры. Шедевры один в один похожи на те, что расставляют летом вдоль приморских набережных уличные художники: паруса, чайки, волны — незамысловатая гуашевая мазня. Но — неожиданно умиротворенная для разорванной и горящей пятый год Херсонской области: синий цвет, белый цвет, ни одной капли крови.



Дом престарелых. Фото: Виктория Артемьева / «Новая газета»

Гуашевые чайки заставляют вспоминать: «запах всякой курортной набережной — гнили, йода и шашлыка»*. Горячий ракушечник, которым ветер то и дело заносит сухие страницы очередного романа Агаты Кристи. Волны — мутные, мощные, тогда еще в два раза выше меня. Из-за этих волн Азовское море и морем-то считать не принято: грязное, мол, мелкое — но для

меня-то, десятилетней, только оно одно море и есть: потому что с характером, потому что пахнет так, как не пахнет ни одно другое, и воздух здесь такой густой, что голода не чувствуешь. Но вечером, когда пойдем с пляжа, мама купит на базаре арбуз — вот им похрустеть, конечно, стоит.

Раз в два года мы приезжали в такой же приморский поселок, как этот, — только на другом берегу, прямо напротив. Хотя все поселки были одинаковые — что на украинской стороне, что на российской: маленькие, тихие, с криками петухов в самодельных загонах по утрам, с визгами детей, со скрипом старых качелей, с карнизами, увитыми кислым мелким виноградом. Детство в таких поселках у всех тоже, наверное, было одинаковым — с арбузами, волнами, чайками и песком, который заносит проржавевшие страницы книг, взятых тут же, на деревянной полке у входа в гостиничный дом. Простой и тихий рай — как когда-то казалось, вечный.

Может быть, поэтому, приезжая в такой приморский херсонский поселок сегодня, чувствуешь близость *** острее, чем где-то еще. Входишь в коттедж, который на ближайшие командировочные дни должен стать местом жительства, — бывшую летнюю гостиницу, брошенную бежавшими от боевых действий хозяевами, а теперь ставшую многоквартирным домом. Входишь — и боишься сделать шаг, положить вещи: думаешь о том, что под этим душем кто-то когда-то смывал налипший после пляжа ракушечник, на этой кровати кто-то отдыхал после обеда. Только об этом и думаешь. И еще о том, что у этого кого-то было такое же детство, как твое, — и лучшее, что в нем было, теперь отнято такими, как ты.



Заброшенный парк в поселке. Фото: Виктория Артемьева / «Новая газета»

Геническ и прилежащая к нему Геническая Горка всю свою жизнь был самым обычным приморским полуторгородком-полупоселком: пансионаты, аквапарк, гостиницы. Всю жизнь — пока неожиданно для самого себя не стал после начала военных действий административным центром той части Херсонской области, которая находится под контролем России, то есть всего левого берега Днепра. И теперь, проезжая по улицам в машине, то и дело слышишь: «Вот это наше министерство образования» — про одноэтажный облупленный корпус; «Вот тут живут сотрудники министерства» — про бывший пансионат.

И дроноводы с противоположной стороны реки о новом статусе города, видимо, отлично знают — редкую ночь здесь можно назвать тихой.

Но для того, чтобы понять, как здесь живется, не обязательно дожидаться ночи. Московский автобус, маршрут которого простреливает насквозь почти все «новые» территории, подъезжает к повороту на Геническ где-то перед закатом — и пока в его окне проносятся освещенные заходящим солнцем поля, видно всё: изрытую траншеями и усеянную «зубами дракона» землю, столбы дыма за рядами сгорбленных подсолнухов, то и дело мелькающие машины МОГов (МОГ — «Мобильная огневая группа», отряд ПВО); ржущих, опершись на мешки с песком, загоревших солдат. И еще —

почти через каждые сто метров или чаще — скелеты сожженных грузовых фур, некоторые из них до сих пор дымятся, и едкий дым застывает в салоне автобуса надолго.

Грузовики, что бы они ни возили, давно стали одной из главных мишеней для беспилотников.



Прилет по одному из домов престарелых. Фото: Виктория Артемьева / «Новая газета»

На повороте к городу, около сарая, самонадеянно идентифицирующего себя как кафе, меня встречает мой Вергилий — гид, не знающий, ни кто я, ни откуда, но согласившийся меня сопровождать.

— Давайте я вас начну погружать во всё, что здесь происходит, — по-хозяйски начинает тот, кто меня встретил, и заходит как-то неожиданно издалека: — По легенде, именно здесь, по этой дороге, где мы с вами едем, в древности проходили пути работорговли. Еще говорят, что в этих местах бывал сам Геродот и упоминал их в своей «Истории». И повсюду до сих пор находят много древнегреческих ваз — что свидетельствует о том, что была широко развита торговля с Грецией. Если пойдем в местный краеведческий музей, а он есть, вы их сами увидите. Богатая у города история, очень богатая. Я за три года многое изучить успел.

По пути до города частые блокпосты — один за другим: «паспорт, паспорт, паспорт». В открытые окна бывшей гостиничной комнаты врывается знакомый соленый морской ветер — море, как всегда, через дорогу. «Бегите к морю! — советуют мне, прежде чем закрыть за мной дверь номера.

— Если услышите ночью жужжание — противное такое, как газонокосилка, — вещи в зубы и бегите к морю. Чем ближе к нему, тем безопаснее». Кто бы сказал мне, бегущей к морю двадцать лет назад, что теперь придется искать у него защиты.

— Мехулеску Валерий Троянович.

— Мегу... что?

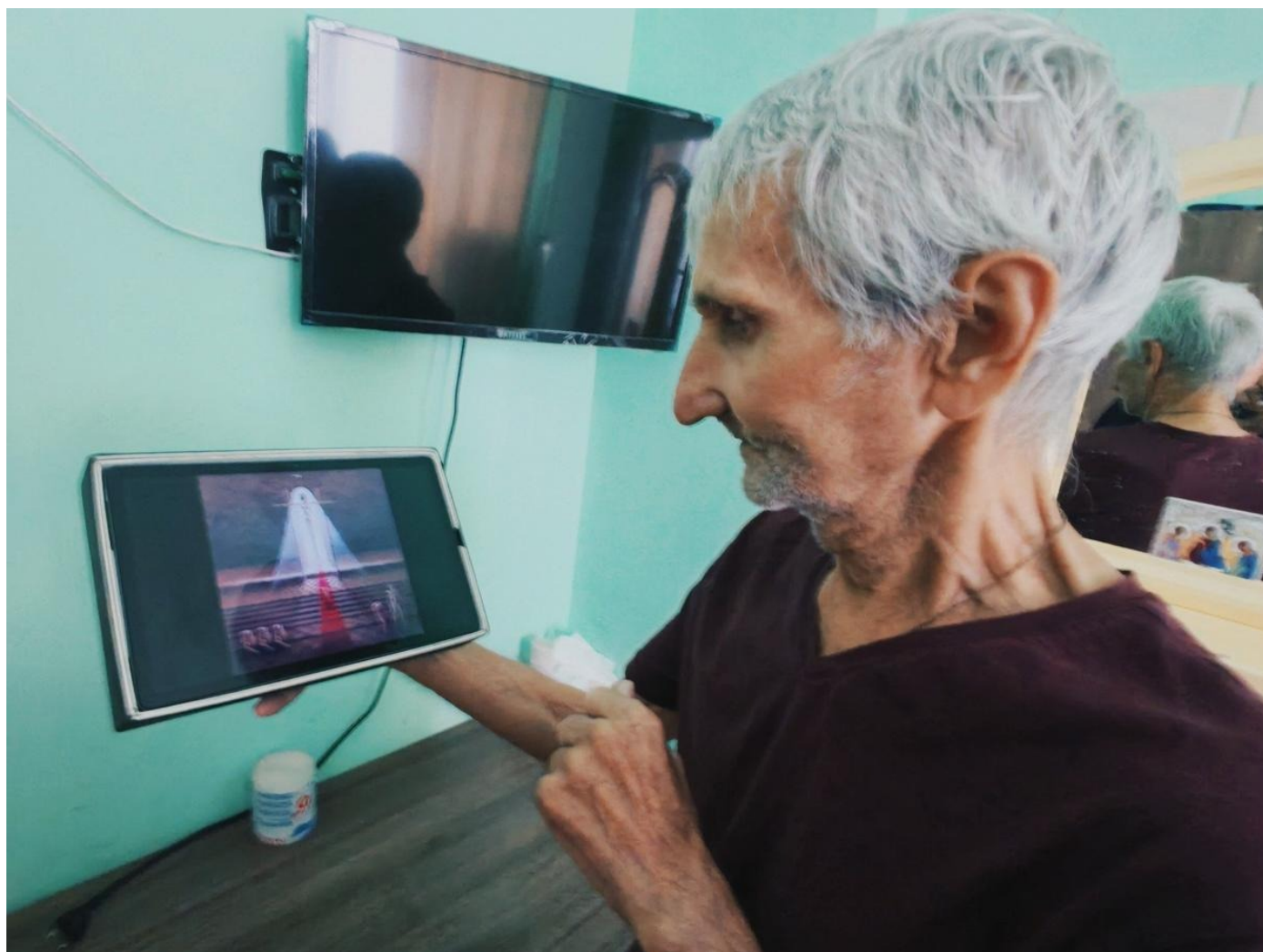
— Михайлеску, — повторяют на суржике, так что услышать внятно все равно не получается, и вскоре попытки понять, как все-таки зовут постояльца, прекращаю: Трояныч и Трояныч. Здесь все его только так и зовут.

Он вернулся в палату из ванной, он чист и очень худ, но бодр. Он встречает гостей каким-то совсем детским взглядом — таким, какой бывает в глубокой старости. Он одинок, как и все старики в этом доме — как большинство стариков в этих краях: когда уезжали повзрослевшие дети и внуки, было не до них. И никто уже не помнит, кто привез Трояныча в дом престарелых. Зато помнят, что привезли его изможденным дистрофиком.

— Я здесь уже почти два года, — говорит он на чистом русском.
— Были сомнения: ехать, не ехать — а как приехал, подумал, что не бывает такого. Кормят отлично, просто отлично! И чисто так, и внимание такое всё время. И свободу передвижения не ограничивают.

— Вы, — спрашиваю, — наверно, думаете, что я проверка, да? СанПиН? Но я не проверка.

— Да нет, нет, извините, я просто говорю, что хорошо тут. Когда начались все эти события, я же один остался. Попал в больницу, там прооперировали. А так как меня некуда было девать, меня сюда отправили. Я в хирургии был, а потом меня выписывать, а некуда. Операцию на легких мне делали. И очень плохо мне было. Я был истощенный, слабый. Уже как бы часто говорил Господу, чтобы... ну вот. Меня привезли — я на двух палках ползал. А сейчас хожу сам. Надо в город — три километра туда, три назад — вот!



Трояныч. Фото: Виктория Артемьева / «Новая газета»

Он из Скадовска — города, стоящего ближе к Днепру, чем Геническ, и поэтому находящегося в следующем круге ада. Хотя Трояныч помнит его другим, в эти круги не входящим:

— Город маленький, уютный. Люди летом новые всегда приезжают. Осенью наступает такая пора — город пустеет к осени, все уехали, тишина. Нет музыки громкой, пляж обезлюдел, базар остыл. Патриархальная такая обстановка, набожная. Маленький город — не по тротуарам ходим, а по дороге, и это так и надо. Люди идут, три-четыре-пять человек, машины едут, объезжают, и так и надо.

Система кругов ада в области теперь простая: линия боевого соприкосновения проходит по

Днепру. Чем ближе к реке, тем адовее.

Примерно до апреля этого года Геническ, Скадовск и прочие города, стоящие даже в самой глубине области, были тылом — ездившие по местным дорогам водители если и смотрели на небо, то редко, и в основном для того, чтобы понять, не пойдет ли дождь. И вдруг весной небо зажужжало — загорелись дома и электроподстанции, загорелись машины: не только грузовые фуры, но и газели, и даже легковушки с туристами, которые, как тогда выяснилось, здесь тоже есть. Туристическая логика, как гласят местные легенды, совпадает с логикой в любой точке мира: «А что нам будет? Мы ж не военные, мы ж на море едем».

Практически единственной «дорогой жизни», соединяющей подконтрольную России часть Херсонщины с цивилизацией, осталась трасса М-4 — та, по которой приезжает сюда московский автобус.

— Вы помните первые месяцы? — спрашиваю у Трояныча.

Старик долго мнетя. Сложно понять: это с таким трудом подбираются слова или с таким трудом дается выбор между правдой и ложью. О феврале они все — все местные старики, которые встретятся мне за время пребывания здесь, — стараются молчать. Вот и Трояныч:

— То, что произошло... видимо, в этом была какая-то необходимость, — медленно, почти по слогам произносит он после минуты молчания. — И я просто согласился с тем, что произошло. Вот оно есть, я не в силах что-то изменить.

А произошло то, что в марте 2022 года маленький курортный Скадовск заняли российские войска. Пишут, что без штурма — но спустя несколько дней жители города вышли на митинг против их освобождения. В подчинении у Трояныча,

работавшего дворником, тогда была огромная розовая клумба где-то на площади в центре города, за которой он ежедневно ухаживал, — так что он был свидетелем всего, чем жил городок в последнее время. Но даже если и видел войска и протесты, ничего про них не рассказывает. Рассказывает другое:

— Я всю жизнь был художником. Что-то такое рисовал — меня даже в Германию приглашали с выставкой. Да куда: тогда сложно ведь с выездом было, да и дорого, а я простой обыватель. А еще если с картинами — так это ж сколько денег надо? Ну не получилось ничего. Не поехал. Хотя ездить-то любил, всё время куда-то ездил. Не за границу, нет. Так просто. Да... А художества мои дома особенно не принимали — не воспринимали меня. Я как-то в Скадовске пытался выставиться, так мне заммэра говорит: «Это что за порнография?» Я говорю: «Ну подожди. А Венера в Русском музее — порнография? А Аполлон? Конечно, если ты только об этом и думаешь, то будет порнография. Если ты, глядя на лопату, уже что-то не то видишь — всё и будет порнография». Разочаровался я тогда: казалось бы, заммэра — должен же понимать немножко. А когда все эти события начались — работы нет, и я пошел работать дворником-озеленителем. Меня это устраивало. Мне нравилось, к примеру, что вся жизнь города проходит мимо меня, и я могу ее наблюдать. А художества — это уже в прошлой жизни всё.

— А картины ваши остались где-то? — спрашиваю. — Можете показать?

— Могу, — говорит.

И достает планшет, и показывает.

И то, что показывает — красно-черное, босховское, — не мог нарисовать тот, чьи сине-

белые гуаши висят на стенах в коридоре.
Изломанные фигуры, вывернутые суставы,
сухие ветки — Дали, Пикассо, Босх.



Картина Трояныча. Фото: Виктория Артемьева / «Новая газета»

Не та война

В одном из домов Скадовска — из тех, которые бросили бежавшие от боевых действий хозяева, — поселилась с внучкой восьмидесятивосьмилетняя Елена Борисова, одна из последних оставшихся в живых блокадниц.

— Вы можете рассказать про первые дни, месяцы? — спрашиваю внучку.

— А бабушка письменные записи о своем детстве оставила, я вам их лучше пришлю.

— Да я не про ту войну.

Но все они — немногие оставшиеся участники и свидетели той войны, про «ту» рассказывают охотнее. Отец Борисовой в сорок первом году ушел на фронт. Потом — блокада: сначала от голода и холода умерла ее младшая сестра, потом бабушка, потом мама. Осталась одна Лена — и тоже уже перестала вставать: голова не держалась, пропало даже чувство голода. Но Лена не умерла — а навсегда запомнила, как поздно ночью под свет прожектора военные, нашедшие девочку и других полумертвых детей, как котят, передавали их друг другу с рук на руки и грузили на какое-то судно, перевезшее потом через Ладогу. А дальше — поездом долго везли в Сибирь. Жизнь оказалась длинной.



Двор ПВР. Фото: Виктория Артемьева / «Новая газета»

В 2022 году, в день, когда началась вторая в ее судьбе ***, Елена Алексеевна с внучкой жили по разные стороны Днепра: внучка в Херсоне, бабушка с дедом на даче, на левом берегу. Говорить о первых днях ни внучка, ни бабушка не могут, но ни та, ни другая не из-за страха. Первая — потому что знает, что потом будет долго приходить в себя, а вторая — потому что давно вообще ничего не говорит: в первые дни от обстрела погиб ее муж, а на следующий день, тоже во время обстрела, у нее случился инсульт, и ее парализовало.

Ее удалось вывезти в Херсон по тогда еще целому Антоновскому мосту, но когда бои в городе возобновились, внучке пришлось на себе тащить парализованную бабушку обратно

— вплавь по холодной ноябрьской воде: мост был уже взорван.

Потом они доехали до Скадовска — так оказались тут: в чьем-то чужом брошенном доме. И — опять под угрозой «холодомора».

Хотя Скадовск, где живет Борисова и откуда привезли Трояныча, Геническ и другие городки и поселки стоят далеко от линии соприкосновения, массовая гибель от холода и голода — это их уже почти свершившееся будущее, которое может наступить грядущей осенью. Здесь, если войти в чей-то дом, вам не предложат чашку чая. Не из негостеприимства и не потому, что нет воды. Просто чайник, даже полупустой, будет кипеть минимум полчаса — электрического напряжения не хватает. Как не хватает его на плиты, на микроволновки, иногда и на светильник.

Дома здесь двух типов: те, которые от моря дальше, — просторные хаты; те, которые ближе к морю и бывшим туристическим местам, называют «домиками Ниф-Нифа»: они летние и на зимнее проживание не рассчитаны вообще. А зима здесь наступает в октябре и длится до поздней весны: хотя места южные, регион лежит между двух морей и постоянно продуваем сильными влажными ветрами. Минус 15 здесь ощущается как минус 30, и спрятаться от ползущего во все щели холода некуда.

Еще прошлой зимой перебои с электричеством не были настолько серьезны, чтобы принимать их как смертельную угрозу. Но потом начались двусторонние удары по энергетике: по ТЭЦ, по подстанциям — и уже в новогодние праздники только что наступившего 2026-го социальные службы ездили по городу и подбирали замерзающих людей.

Не было пунктов обогрева, а электричество, если и было, подавалось с таким напряжением, которого не хватало не только на плиту — но даже на то, чтобы разжечь газовый котел, который без электричества тоже не работает.

Пунктов обогрева нет и сейчас, а везти сюда дрова и уголь никто не рвется: скелеты сожженных фур, которыми усеяна дорога, не вдохновляют дальнбойщиков на подвиг самопожертвования. Лесов нет — нет и дров, а те сады, которые были, в большинстве городов и поселков давно сожгли в печках, как и заборы, и сараи. В местных пунктах временного размещения по длинным коридорам ездят на колясках те, кого прошлой зимой удалось вытащить из промерзших домов, но с уже отмороженными ногами. Пока их немного — но в регионе остались жить тысячи.

— Почему они не уезжают? — спрашиваю местных.

— Потому что «Це моя хата», — просто отвечают мне. — Им по восемьдесят. В таком возрасте уже не уезжают. Да и некуда, и не с кем: вот

не далее как перед вашим приездом — соседка узнала, что уехавший за границу сын продал мать вместе с домом. Находишь этих детей, звонишь им: «Ваши родители живы, заберите их!» «А нахрен они нам?» — отвечают.

Стариков находят и развозят социальщики — кого куда: в ПВР, дома престарелых, социальные центры, больницы, интернаты.

Хотя принимают везде неохотно, и к кругам очевидного ада добавляются круги ада бюрократического. В больницах есть генераторы — точнее, были, пока был бензин. Но и эти генераторы могут немного, так что в местных больницах из всех доступных благ цивилизации могут, например, работать в лучшем случае рентгены. За многим остальным — дальше по «дороге жизни».

Блокаднице Борисовой повезло — не только с внучкой, не бросившей ее, парализованную. Повезло еще и в том, что дом, в который они заселились, отапливается газом и от электричества не зависит — замерзать они начнут, только если вдобавок к электроподстанциям перебьют и газопровод. Но «конец света» тащит за собой не только конец тепла — а еще и конец воды. Воду здесь берут в основном из скважин — а чтобы поднять ее на поверхность, нужен насос, а чтобы насос заработал, нужно электричество. Так круги ада замыкаются.



Постоялец ПВР. Фото: Виктория Артемьева / «Новая газета»

В домах и хатах, стоящих на этой земле, почти не осталось запасов угля. И отсутствие электричества означает для них не только угрозу массовой холодной смерти и не только невозможность помыться — хотя и ее тоже, и можно долго представлять себе, что значит отсутствие воды в домах, заполненных лежащими стариками. Это означает еще и угрозу массовой смерти от голода. Потому что даже если по кладовкам и подвалам домов и хат и расставаны мешки с гречкой и макаронами, разгрызть их старики вряд ли смогут.

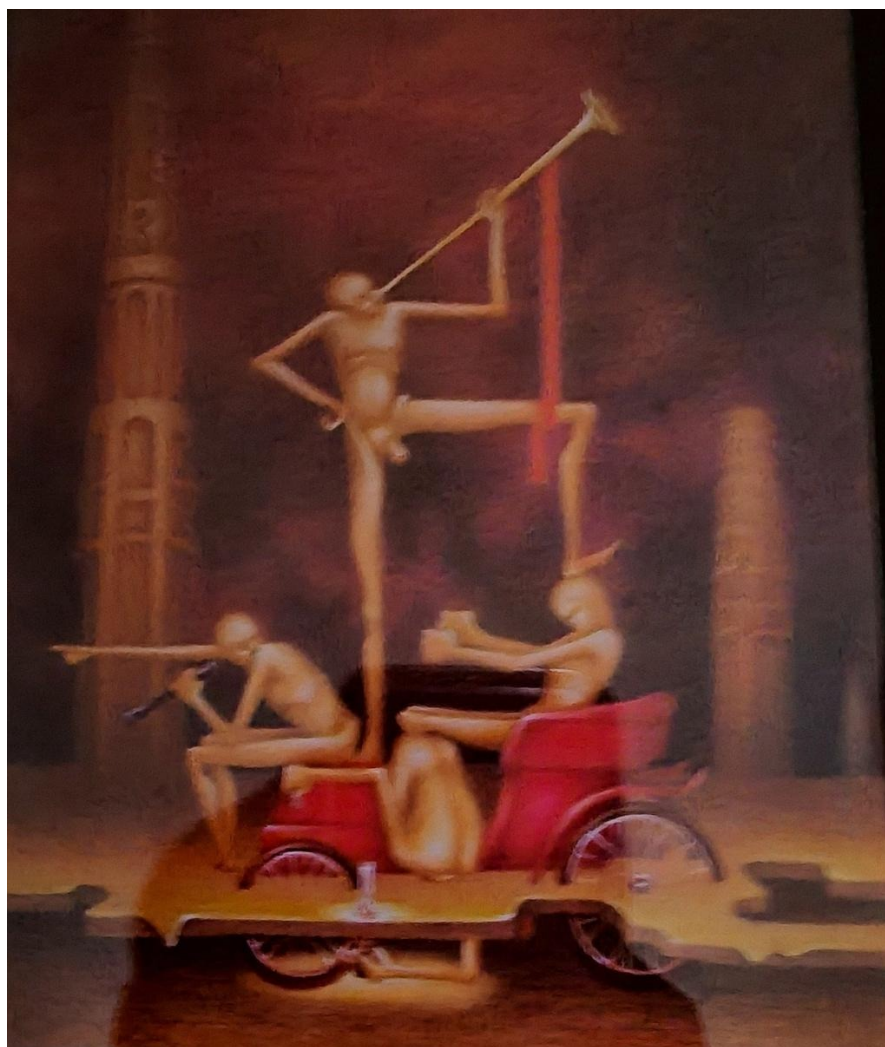
И поэтому перед каждым, кто живет здесь, стоит условие простой математической задачи:

Одна тонна угля стоит около 27 тысяч рублей. Одна тонна угля, привезенная в одну среднюю хату, дает около четырех часов обогрева в сутки, если пытаться сохранить эту тонну на весь

сезон. Но четыре часа тепла в сутки мало кого спасут, поэтому на одну среднюю хату нужно как минимум две тонны угля. Вопрос заключается в том, сколько хат (не говоря о ПВР, интернатах и больницах) удастся обеспечить этими двумя тоннами.

От ответа на этот вопрос будет зависеть ответ на другой — главный: сколько же все-таки людей выживет этой зимой в Херсонской области?

— Это «Корабль дураков», — объясняет Трояныч, показывая очередной свой шедевр на экране планшета. — Только не тот, который у Босха, а мой, современный вариант. Все куда-то едут, кто куда. А куда?.. А это сбежавший из Рая. То есть, по существу, Рая как такового уже нет. Осталось три яблочка всего лишь райских. Сухой сад. Высох он, нет его больше. А вот Христос — никто его не видит, никто не понимает, и только маленький ребенок его понял и идет к нему. Он же как говорил: «Враги человеку домашние его». Семья — первая, кто предаст.



Картина «Корабль дураков» Трояныча. Фото: Виктория Артемьева / «Новая газета»

Вдруг листающая картины по экрану рука замирает — вместо картин появляется видео из ТикТока: танцует глянцевитая девушка.

— Внученька моя, — говорит тихо, но гордо: с куда большей гордостью, чем о картинах. И любитесь.

— А где она сейчас?

— Уехали они. За границей там — а я тут. У меня тут мои похоронены. Жизнь тут прошла, а там нет. Ну не виню я их. Не виню.

— А картины где ваши?

— А внучке отдал.

— Увидели картины, стало быть, заграницей-то.

Молчит — любит.

«До всего привыкать надо»

Прошоркавшая в комнату старушка с трудом ходит, с трудом слышит, вообще с трудом живет. Зовут Григорьевна, год рождения — 1941-й. От той войны, как ни странно, память ее кое-что сохранила: «Помню, как, после победы уже, пришли два солдатики до мамки. Матросы оба — у нас же моряки вокруг. Мамка их мыла, полотенцем в мелкую крапинку обтирала — вот это усё».

Ее привезли в скадовскую больницу с Алешек — из города, стоящего почти на линии фронта. Туда редко прорываются скорые — точнее, туда они особенно и не рвутся — но когда одна такая приехала собирать безногих и безруких, Григорьевна села в машину вместе с ними.

— Хату, — говорит, — у мене разбомбило. Крышу разнесло, а як дождь пошел, потолки попадали. Як выживали? Та як сейчас выживают — умирают прямо там. И никто не подбирает. На дрова порубали все деревья, которые были. Всё заминировано. Продуктов нету, ничего нету. Питались — кто шо даст. Поначалу варила рис молодой, борщ, а потом продукты повыходили. Продукты не подвозят. Когда поесть, когда не поесть, когда воды попьешь — да и слава богу.



Григорьевна и другие. Фото: Виктория Артемьева / «Новая газета»

Алешки, конечно, не всегда были воплощением ада на земле — хотя в последнее время им стали. То, как там жилось раньше и как живется сейчас, полнее всего описала украинская журналистка Мария Семенченко — текст ее, если в переводе, назывался «Живы. Садим огород. Дневник выживания в Алешках». Она рассказывала в нем, что в этом городе провела всё свое детство — и что здесь они детьми подкрашивали глаза черной шелковицей, делали укрытия в сорняках, а в жару купались среди лягушек и ужей. Здесь они поздно вечером, жуя горбушки хлеба, слушали истории о ведьмах, войне, домовых и коллективизации. Здесь каждое лето ее дядя привозил откуда-то прицеп дынь и арбузов, горой лежавших во дворе. Арбуз разрезали пополам и выедали из него только сахарную серединку — душку. А всё остальное бросали уткам и курам.

О том, чем стал город сейчас, рассказывал дневник ее

оставшейся в городе родственницы. 10 января 2026 года она писала, что

как только выпал снег, в город перестали привозить хлеб и продукты. Привезли немного один раз, но хлеб разобрали сразу, еще пока разгружали машину. Магазины закрыты, и хлеб приходится печь из того, что есть — из смеленных в муку отрубей или чего-то похожего, на сковородке.

В доме температура около нуля — вода в ведре замерзает и не тает, хотя стоит рядом с трубой. Написала, что от постоянного мороза у нее всё время холодная грудь и спина, и трахея как будто обожжена холодным воздухом.

Григорьевна, уехавшая из Алешек в Скадовск на скорой, как и все, о жизни в городе рассказывает мало, но что рассказывает — то повторяет описанное в чужом дневнике: опыт выживания там у всех похож. И еще — рассказывает о том, как дроном убило ее ехавшего на велосипеде по улице мужа, и как она, не желая оставлять его на съедение собакам, погрузила тело в тачку и повезла в морг. Повезла сама — восьмидесятипятилетняя, ослабевшая от голода, хромоногая. В морг, который давно закрыт: из-за отсутствия электричества там не работают холодильники, и трупы лежат в черных мешках просто так, друг на друге. Хоронить не дают — оформлять некому. «Руки тряслись, пока везла», — сухо заканчивает она.



Больница. Фото: Виктория Артемьева / «Новая газета»

Слушая немногословные рассказы этих стариков, чьи даты жизни совпали с двумя войнами и детство оказалось так похоже на старость, думаешь: тот, кто видел, как они жили и живут, навряд ли вспомнит потом, кто победил в этой. «Мой Телемак, Троянская война окончена, кто победил — не помню. Должно быть, греки: столько мертвецов вне дома бросить могут только греки»**. Они все тут Троянычи — жертвы чужой ***, носящие эту *** прямо в отчестве. И когда весь мир обсуждает Нолана и то, чего там нового удалось ему сказать о войне и расчеловечивании в погоне за очередными «Оскарами», никто не рвется искать новые смыслы в рассказах настоящих Одиссеев. Эти-то не Мэтты Дэймоны, и декорации, в которых они доживают, не подогнаны под IMAX. Они неинтересны даже собственным детям. И когда грядущая зима оставит еще меньше свидетелей настоящей Троянской войны, кто-то из выживших,

может быть, поймет, что победа в ней, неважно чья, вообще больше невозможна.

Думаешь так — и слышишь вдруг, как после долгого сурового молчания кто-то из слушавших Григорьевну добавляет, как будто спохватившись: «Ну шо ж, надо до всего привыкать».

— Но это в прошлой жизни всё, — говорит Трояныч о картинах, выключая планшет.

— Почему?

— Да неинтересно всё это уже. Я о прошлом не думаю, не помню его. Нельзя прошлым жить. Повторяться нельзя. Не рисую давно — так только, гуашью что-то. Мировоззрение поменялось. Не надо этого всего — надо быть таким, как все. Вот когда я дворником был, вот тогда было хорошо. Больше тысячи роз у меня было — в Скадовске на площади, там они есть до сих пор. А запах какой: с утра приходишь — воздух еще не нагрелся, не горячий, такое благоухание стоит, что невозможно. А вокруг клумбы дома стоят, люди проходят утром и говорят мне: «Вот ты начинаешь мести, я своей жене тогда говорю: вставай, пора на работу. С тебя день начинается». Или: «Ой, — говорят, — как красиво». И всем нравится. И ты свободен.

— Оценили наконец ваше искусство, значит?

— Да... — Трояныч задумывается, моргает детскими глазами и через паузу добавляет: — Только я вопроса не понял.

Понимаю, что завидую умиротворенной уверенности Трояныча в том, что его тысяча роз до сих пор цветет на площади предосеннего, готовящегося замерзать городка. Благодарю, прощаюсь — и уже повернувшись, слышу:

— Вы приезжайте. Приезжайте почаще.

До отъезда остается свободный вечер — и я иду к морю. Его уже слышно: там, за опустевшими домами и заселенными непрошеными гостями пансионатами шуршат волны. Навстречу им — тоже волнами — шуршит ковыль. Так всё и было когда-то: перейти через трассу, свернуть по тропинке в заросли, и скоро в конце нее мелькнет оно, серо-зеленое и родное.

В конце тропинки, под старым маяком, стоит закрытый шлагбаум. Рядом — будка охранника, и по мере моего приближения оттуда один за другим медленно и угрожающе выбираются два камуфляжа с бетонными лицами.

— Можно к морю? — кричу, не доходя метров пяти.

Мотают головами: нельзя.

* Строчки из стихотворения «Приморский город пустеет к осени» Дмитрия Быкова (Минюст РФ внес в реестр «иноагентов»).

** Строчки из стихотворения «Одиссей Телемаку» Иосифа Бродского.